

Поговорить с Александром Минкиным о профессии журналиста хотелось давно, но удалось лишь недавно. Просидели в редакции часа четыре. Из семидесятистраничной беседы сделали текст, который Минкин отверг. Написал сам — он же профессионал.

Я, я, я. Что за дикое слово! Неужели вот так — это я? Разве мама любила такого, Желто-серого, полусерого и всепогого, как змея?

Владислав Холосевич

СЕБЕ писать трудно. О своей профессии тоже трудно. Непонятно, как это делать.

Есть много замечательных врачей, но кто из них замечательно написал о врачах? Вересев? Есть тысячи прекрасных зоологов, но прекрасно написали только Даррел, Фабр, Лоренс.

Скажут: зоолог — понятие. Но ты — пишущий. Это твоё занятие. В чём же трудность?

Только Набоков сумел гениально написать о писателе. Но о человеке — о процессе. О писателе. Даже Пушкину не слишком удалось. В «Египетских ночах» он описывает Чарского (себя!) с ошутимым раздражением, с иронией, издевкой.

Кроме Набокова и Пушкина, только Чехов (в монологе Тригорина) в малой степени передал укус нашего занятия, нашей жизни.

Заметил ли Чехов (замечали ли чеховеды), как его Тригорин схож с Чарским Пушкина? Уверен, что нет. Ибо писал о себе.

Журналисту писать о журналистике — в этом есть некая табуированная ловушка. Читателю не расстолкуешь кухню, да она ему и не интересна. Зачем болному формула аспирина? Помогает — ну и хорошо. Зачем пассажиру подробности карбюратора? Едет, ну и отлично. Покупатель верит марке «Байер», «Мерседес», так как у марки есть репутация.

Писать, обращаясь к братьям по перу? Зачем? Они и сами все знают. И гораздо лучше знают. Попробуйте рассказать врачу, как вас лечил другой врач. Увидите кислую физиономию и услышите сперва «этика мне не позволяет дурно отзываться о коллеге», а потом (спрау!) узнаете, что лечили вас не так, не тем и не от того.

Недавно три журналистки, три сестры по перу, брали у меня интервью о журналистике. Вот их вопросы (ничего не выдумываю, цитирую по магнитофонной записи).

— У вас специальное образование?

— Эта публикация, где Гайдар был смешан с грязью... почему вам понадобилось отзываться о Егоре Тимуровиче с такими пренебрежительными словами?

— Ваша аргументация все-таки ярыжная.

— В чем ваш профессионализм заключается, если оторвать ваше умение, данное природой, складывающееся в предложения?

— На кого вы работаете?

— Вы журналист больше мнений, чем фактов.

— А вы коротенько, чтобы было ясно.

— Вы интеллигентный человек?

— Не кажется ли вам, что судиться с вами — значит пачкаться?

— Скажите, вы всегда ходите в таком виде?

— Как вы могли быть в ночном казино, когда в Буденновске гибли люди?

— Вы классический пример журналиста-дилетанта, который ни на чем не специализируется и готов писать о чем угодно.

— Создается впечатление, что вы прекрасный компилятор, но более того. Вы идеи захватываете у других и выкладываете за свое.

— В большинстве ваших огромные статьи состоят из перемешивания идей, которые давно высказаны другими.

— А ваша жена делала подтяжку? (Лица. — А.М.)

— Ваши статьи оставляют впечатление хамства.

— Вы профессионал бульварной журналистики. Разнузданной журналистики, апеллирующей к низменным чувствам.

Им казалось, что они берут у меня интервью о профессии. Они даже не замечали оскорбительности своих вопросов. Или — пользовались случаем под видом вопросов выразить «свое фэ».

Они спрашивали «зачем пачкаете Гайдара» таким тоном, что это звучало как «кто вам заплатил? кто научил?».

Они искренне не понимали, что вполне довольно того, что сделал Гайдар, чтобы критиковать его.

Они убеждали меня, что в моей статье нет фактов, что сплошные ярлыки, хотя статья о Гайдаре наполовину состояла из убойных фактов и фактов.

Они уверяли меня, что я был в ночном казино («когда погибли люди»), хотя я там не был. А когда я сказал, что не был, настаивали: «был, был, мы все вас там видели», хотя это означало лишь, что там, когда гибли люди, были они, а не я.

Они твердили, что я вульгарный, бульварный, и спрашивали, подтягивала ли лицо моя жена...

И это были журналистки из очень приличной, отнюдь не бульварной газеты. И ничего я не мог объяснить.

Невозможно объяснить, что я никого не пачкаю, да и не нужно это вовсе. Я никого не пачкаю. Люди пачкаются сами. Я только

включаю свет. Лжецы и воры очень не любят света. А те, кому нравятся эти воры и лжецы, сидят на лампочку.

Говорят, нет фактов. Но мне кажется, мало кто опубликовал больше документов, чем я.

Что лучше: ложь или грубость? Я не застрахован от ошибок, но я не лгу. И претензии ко мне постоянно за стиль, за тон, но не по сути.

Никогда не покупал информацию. Ее на меня валится столько, что мог бы продавать. Очень редко информацию приносит «хороший человек». Хорошие, как правило, ни черта не знают. Заблуждаются же в мотивах «плохого человека» не приходится. Однако всякий раз произношу формулу: «ничто из того, что вы скажете, не будет использовано против вас». И никогда не нарушаю договоренности.

Однако ставлю информатора перед выбором: или я напишу «Как утверждает имьярек...» — тогда ответственность на нем (от этого отказываются 999 из тысячи), или я возьму ответственность на себя, но тогда — давайте документы.

И никогда не буду писать о личной жизни, о том, что имьярек содержит любовницу или гомосексуалист.

Важно, что думает читатель, а не тот, о ком я пишу. Важно, что чувствует зритель, а не актер. Если актриса на сцене рыдает и заламывает руки, а зритель злолден, — значит, она плохая актриса. Если она слезанна, а зритель плачет, — значит, хорошая.

В идеале статья должна быть написана изыскно, иронично, легко, а читатель должен сжимать кулаки и ругаться матом. Важнее вызвать протест читателей, чем высказать свой протест.

Глуповатое «аж» пестрит во всех газетах. Юноша, желая поразить читателей, пишет: «На пожаре погибло аж три человека». Но результат обратный. Словечко «аж» поощряет читателя сотни, тысячи жертв, а их оказалось всего три — подумаете! Чтобы вызвать правильную реакцию, надо написать «погибло всего троих» — тогда читатель ахнет, посочувствует погибшим и подумает о журналисте, как о бесцеремонной скотине, не понимая, что именно своим «бесцеремонием» скотина заставила читателя чувствовать.

Да и что такое факты? Факты сообщает репортер: там-то тогда-то загорелось это, погубило столько-то. Разве надо писать один репортаж?

Если написать «Вчера состоялся съезд партии «Наш дом — Россия» — это будет факт. А если написать «Вчера состоялся съезд «Наш дом — Россия». Поздравляю» — это, согласитесь, нечто иное.

Если сообщить, сколько икры и шампанского употребили делегаты съезда — это бульварная журналистика.

Если написать, что дал деньги Нашдомпос на икру и шампанское, и откуда эти деньги — это ближе к расследованию.

Если поразмыслить, что сей спонсор захочет от ДВР за свои деньги — комментарий.

А если спросить: где совесть? — это публицистика.

Вот как все просто. Вот как все вульгарно. (Vulgareis — простой, грубо упрощенный.)

В журналах звали его поэтом, а в лакейских сочинениях... Зло само горькое, самое нестерпимое для стихотворца есть его знание и поэзия, которым он закемлет и которые никогда от него не отпадут. Публика смотрит на него, как на свою собственность; по ее мнению, он рожден для ее пользы и удовольствия. Возвращается ли он из деревни, первый встречный спрашивает его: не привез ли вы нам чего-нибудь нового? Задумывается ли он о расстроенных своих делах, о болезни милого ему человека, тотчас пошла улыбка сопровождает пошлые восклицания: верно, что-нибудь сочинил! Выбегает ли он? — красавица его покупает себе альбом в английской магазине и ждет уж злещи. Придет ли он к человеку, почти с ним незнакомому, поговорит о важном деле, тот уж клочет своего сына и заставляет читать стихи такого-то; и мальчишка убогает стихотворца его же изуродованными стихами. А это еще цветочки ремесла! Каковы же должны быть невзгоды? Чарский признавался, что приветствия, запросы, альбомы и мальчишки так ему надоедали, что поминутно принужден был удерживаться от какой-нибудь грубости. Чарский употреблял всевозможные старания, чтобы складить с себя несносное прозвище. Он избегал общества своей брата, литератора и предпочитал им светских людей, даже самых пустых. Разговор его был самый пошлый и никогда не касался литературы.

Александр Пушкин. Египетские ночи

В том интервью, что брали у меня три хорошие журналистки, поразили отнюдь не милые вопросы из арсенала НКВД («На кого вы работаете?»). Поразили глубоко интеллигентные вопросы: «В чем ваш профессионализм заключается, если оторвать ваше умение, данное природой, складывающееся в предложения?»

Природой ли дано — еще вопрос. Важно, что журналистика считала, что это можно отбросить. Подвести бы эту барыню к нейрохирургу — пусть бы она спросила его: что останется от вашего профессионализма, если отбросить природное умение попадать скальпелем в нужное место?

Может быть, он послал бы ее... а может, вежливо ответил: «Ничего».

Факты общеизвестны. Объяснить факты, связать факты, ясно и четко сделать выводы — вот задача, которая решается только словами. Это так ясно, как простая гамма; даже стыдно говорить.

Если кто-то принимает Чубайса за демократа, Ерина — за министра, кремлевские интриги — за борьбу с коррупцией, а войну — за конституционный порядок, — значит, этот человек бредит. И точное резкое слово — единственное средство выдернуть человека из бреда. Как пощечиной — из истерии.

Скажем, пользуясь тем, что «ветка» и «сухо», «ветвь» и «сук» — синонимы (только «ветвь» — зеленая, а «сук» — голый), — я

пишу «сухи власти», надеясь содрать мишуру и позолоту, да еще запутать в ударах. Человек ежедневно тысячу раз слышит красивое «ветви власти». И вдруг читает заголовок «Сухи власти». Вздрагивает. И задумывается.

Точные слова — да. Но зачем грубые? От природного хамства или из необходимости?

Когда один вечно красный член Выхода России по фамилии Полторанин сказал однажды, что наша журналистика перешла на лагерный иврит, он был наполовину прав. Начерт иврита — это у пожилого члена ВР от застарелого антисемитизма. А что язык наш — лагерный, это точно.

Может ли он быть другим? Можно ли писать о мерзостях Жириновского, о подлостях Грачева, о наглых проделках и. о. Ильишеники — языком дамы приятной во всех отношениях? Поймут ли? Будут ли читать? Язык газетчика должен быть на уровне картошки, а не устриц.

Не я сделал людей такими, что, кроме мата, у них почти нет языка.

Я обязан говорить на языке улицы, если хочу, чтобы улица меня понимала. А я именно этого хочу.

Вся страна давно бегает по фене; разве не замечали? Кремлевские, думские власти легко и привычно называют свои взаимоотношения «разборками». Гангстерские термины — стали общепотребительными (и не вчерашние).

Маяковский всю жизнь упрекали в грубости. Он ответил гениально: Улица корчится безызык. Ей нечем кричать и разговаривать.

тебе. (Насчет «сала проваленной кровати» — это интеллигентный Гамлет так о маме говорит; хочет, чтоб правильно поняли).

Зачем журналист лезет под бомбы? Затем, что это дает ему маленький шанс донести пережитый ужас до читателей. Если сумеет написать.

Тот, кто боли не пережил, кто не знает, что это такое, — рассказать (передать) боль не сможет.

Почему у Чечне поминал фашизм, Сталинград, Великую Отечественную?

Потому что Россия помнит этот ужас и эту боль. Потому что потеря четверти населения остается в генах, остается в национальном сознании, в подсознании. Память о своей национальной боли помогает понять чужую.

Пока под бомбами подкают чеченцы, пока подкают всякие там кавказцы, — черт с ними. Нам легко, поскольку, что — не люди, это уловники (даже грубые). И немцам было легко. Они уничтожали недочеловеков, русских свиней, жилов, и несли сюда свой конституционный порядок (Ordnung).

Газетчик в проигрыше. И не только по времени. Аксиома: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Видим — картинку, читаем (слышим) — слова. Нужны, выходит, в сто раз более весомые слова, чтобы хоть сравниться с картинкой.

После первого штурма Грозного ТВ ежедневно показывало подбитый танк, из люка которого торчал створший живою танкист — черная неподвижная кукушка. Черная страшная голова, черная, грозящая небу, рука. (Снимок обошел и все газеты.)

Все матери русских танкистов, все отцы русских танкистов, все их жены, дети, братья и сестры ежедневно видели черный труп. Миллионы людей день за днем терзались ужасным вопросом: не наш ли Ванечка?

Как же надо писать, чтобы — после таких картинок — подействовать на читателя мелкими бумажками на газетной бумаге.

Если ежедневно люди видят горы кровавых тел, груды гробов, видят детей с оторванными ногами, слышат невыносимые вопли женщин — у них, у зрителей, растет иммунитет к чужому страданию. Растет скорлупа, ибо если это принять — рехнешься.

Как же надо писать, чтобы проломиться через эту скорлупу.

Способ один — заставить человека ощутить, что ЭТО не глеть, а здесь, не с кем-то, а с ним. Надо сделать больно.

Потому что человек — такой. Пока ему самому не больно — то и наплевать.

Зачем идут на «Гамлета»? Разве новость? Ему уже 400 лет. Разве неизвестно, что Офелия утопится, Королева отравится, а Гамлет зарежет Полонию, Ларэрта, дялю Клавдия и сам помрет.

На большинство читателей пьеса почти не производит впечатления. Слова, слова, слова.

Зачем же они идут в театр? Затем, что гениальный актер — если Бог пошлет удачу — делает без Гамлета. Ты сольешься с Гамлетом, это твоя разная изменит тебе, и это твоя разная мать будет валиться в зал проваленной кровати, и ты заплачешь, потому что больно будет.

Разве уголовники идут в народное ополчение? Студенты, учителя, врачи... И разве за Сталина (за Дулаева) они идут? Прошло 50 лет. Ненависть одолевает, но не ушла. И не дай Бог какой-нибудь немец позволит себе малейшую бестактность...

Мало ли у нас в СССР было нарушений прав человека? Да больше, чем где бы то ни было. Но мессершмитов, с которых летели бомбы и листовки (в кои Гитлер обещал освободить Россию от преступного режима, от коммунистов и евреев), — освободительные эти мессеры не радовали здесь никого.

Сильно ли радовалась русская мать, если эсэсовец из зондеркоманды, освобождал ее от жилов и коммунистов, бросал в колодезь ее ребенка, поджигал дом? Можно предположить, что и чеченские матери не радуются такому освобождению от Дулаева.

Мне говорят: ты кошунствуешь. Разве я?

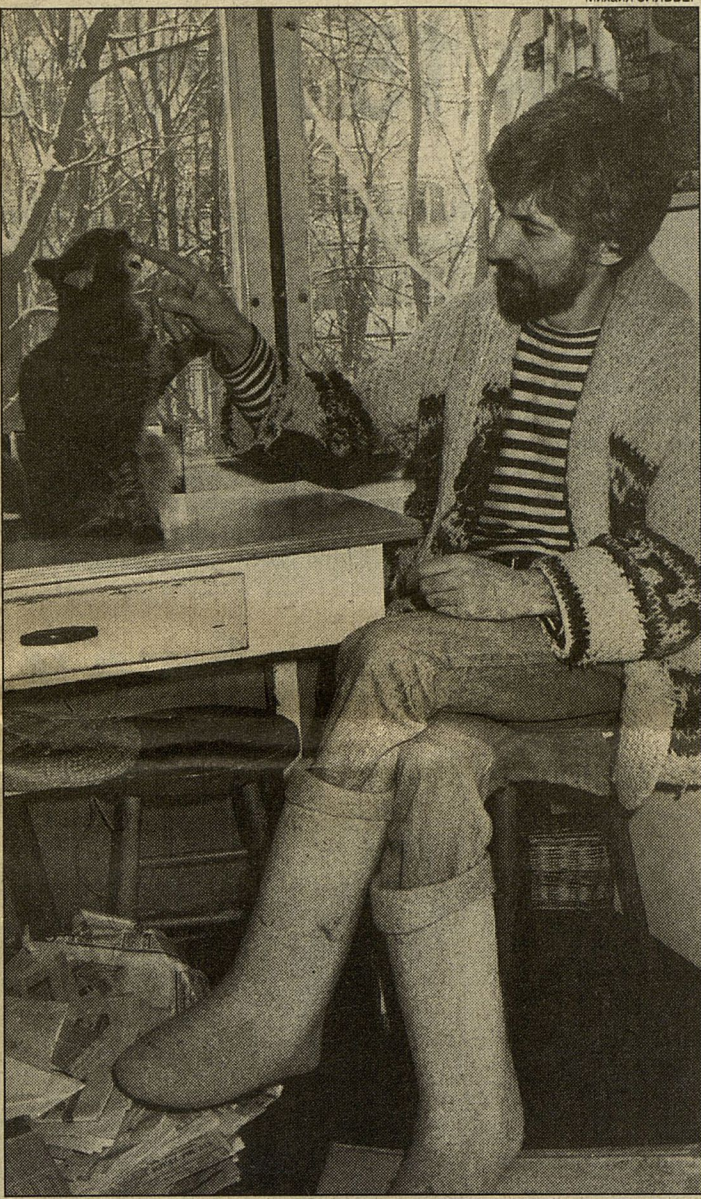
Или бомбить — благородно, а писать об этом кошунственно? Поверьте, умирающим детям все равно, чья армия и ради чего их бомбит.

Кончается Конституционный суд над чеченской войной. Скорее всего, он оправдает действия власти и, значит, покончит с собой. Как покончила с собой комиссия Говорухина, оправдав Самашки.

Представитель президента в Конституционном суде г-н Шахрай употребил изыскное название боины: «государственное принуждение». Браво, Шахрай, подлость тоже может быть изыскной.

Как же надо писать, чтоб одинокий голос человека перекрыл огромный государственный оркестр, где грохочут танки, бухают указы, свистят Конституционные суды.

Факты — это репортер. Свои мысли — это писатель. Журналистика — это люди. Это их голос. Голос безызыкой



Михаил ЗИЛЬБЕР

...Чарский и Тригорин — счастливчики. Как бы им ни было тошно, их, по крайней мере, не обвиняли в продажности.

Пошляки как бы забыли, что обвинение в продажности — есть главный и любимый способ советской полемической школы.

Продажной была вся западная пресса. Продажными были Пастернак, Ростропович, Солженицын, Сахаров. Продажной левкой была даже наука (кибернетика, генетика), даже теория (относительности).

Советская власть внушала людям, что они — винтики. И опущенному винтику было приятно верить, что великий ученый или гениальный поэт — просто продажные твари.

Похабные эти обвинения звали...

НИНА. Ваша жизнь прекрасна! Тригорин. Что же в ней особенно хорошего? Я должен сейчас идти и писать.

Изнитые, мне некогда... День и ночь одолевает меня одна неотвязная мысль: я должен писать, я должен писать, я должен... Эдак кончил повесть, как уже почему-то должен писать другую, потом третью, после третьей четвертую...

Пишу непрерывно, как на переключках, и иначе не могу. Что же тут прекрасного и светлого, я вас спрашиваю? О, что за дикая жизнь! Вот я с вами, я возмущусь, а между тем каждое мгновение помню, что меня ждет неоконченная повесть. Когда кончу работу, бегу в театр или уйду рыбу; тут бы и отдохнуть, забыться, а — нет, в голову уже ворочается тяжелое чуждое ядро — новый сюжет, и уже тянет к столу, и надо спешить опять писать и писать. И так всегда, всегда, и нет мне покоя от самого себя, и я чувствую, что съедаю собственную жизнь... Разве я не сумасшедший?

Разве мои близкие и знакомые держат себя со мною, как со здоровым? «Что пишете вы?» «Чем нас подарите?»

Одно и то же, одно и то же, и мне кажется, что это внимание знакомых, похвалы, восхищение — все это обман, меня обманывают, как больного, и я иногда боюсь, что вот-вот подкараулит ко мне сзади, схватит и поведет, как Поприщина, в сумасшедший дом... Да, когда пишу, приятно. И корректуру читать приятно, но... эдак вышло из печати, как я не выношу и вижу уже, что оно не то, ошибки, что его не следовало бы писать вовсе, и мне досадно, на душе драмма...

А публика читает: «Да, мило, талантливо... Мило, но далеко до Толстого», или: «Прекрасная вещь, но «Отцы и дети» Тургенева лучше». И так до гробовой доски все будет только мило и талантливо, мило и талантливо — больше ничего, а как умру, знакомые, проходя мимо могины, будут говорить: «Здесь лежит Тригорин. Хороший был писатель, но он писал хуже Тургенева»...

Я люблю родину, народ, я чувствую, что если я писатель, то я обязан говорить о народе, об его страданиях, об его будущем, говорить о науке, о правах человека и проч. и проч., и я говорю обо всем, тороплюсь, меня со всех сторон подгоняют, сердятся, я мечусь из стороны в сторону, как листва, затравленная псами, вижу, что жизнь и наука все уходят вперед, а я все отстаю, и отстаю, как мужик, опоздавший на поезд...

Антон Чехов. Чайка

Однажды какой-то мужик прорвался через охрану в редакцию и, не найдя меня, оставил «для Минкина» бутылку портвейна. Он отдал мне самое дорогое. Это ли не главный приз? Вахтеры передали сверток, а там, в мятой газете, носки тончайшей вязки и письмо: «Мне 88 лет, я бедная, мне больше ничего вам подарить» и подпись: Раиса Корнеева. Уличные продавцы а «МК» толпились в розницу ежедневно уходить 200—300 тысяч! — газету с моей заметкой просят кто — на сто, а кто торгует среди машин — и на тысячу рублей дороже. Мои тшеславие удовлетворено полностью.

До последнего времени тираж «МК» был больше полутора миллионов. Если один номер читают четверо — это 6 000 000 читателей. Если треть из них читает мои заметки — это 2 000 000. И большинство из них никогда не поверит, будто я — продажный. За деньги так напишешь. Дураков нет, любой знает, что ни одна проститутка не даст такого наслаждения, как влюбленная женщина. Читатель чувствует: я отдаюсь ему по любви.

...А русская тоска — ее ничем не izbьт.

Я многого не знаю. Многого не понимаю. Многого не умею. Я восхищался Юрием Ростом, когда он печатал в «ЛТ» свои «светотени» — я сознавал: мне такого совершенства не достичь. Я завидовал Владимиру Гуревичу из «МН» — мне казалось, что лучше, чем он, никто не объясняет загадки экономики. Мне восхищался ум, талант и твердость духа Юлии Калининой из «МК». Я знаю: ни мне с ними не тесно, ни им со мной.

Я благодарен Льву Гушину: он взял меня в «МК» с улицы в 1978-м — старого (33), беспартийного, еврея, с бородой и без специального образования.

Я благодарен Егору Кулеву: он взял меня в «МН» с улицы в 1987-м, когда я уже 8 лет был безработным.

Я благодарен Павлу Гусеву: он взял меня в «МК» с улицы в 1992-м и дал возможность печатать все, что я хочу, все мои бумажные зверства и хулиганства.

Я благодарен Судьбе. В 1988-м я вдруг стал взычным и увидел Париж, Рим, Токно, Венецию, Лозанну, Иерусалим.

Я благодарен своему другу — швейцарскому журналисту Эрику Хёсли, который нелегально вывезил когда-то мои заметки на Запад.

Я благодарен всем, кто не боится, потому что в компании легче не бояться.

Я благодарен России за чувство Родины, за русскую литературу, русский театр, за гениальный сумасшедший язык и за то, что мне никогда не хотелось отсюда уехать и всегда хотелось вернуться.

Продажный журналист не лезет под бомбы. Точно так же, как чеченцы-грабители не лезут под танки.

Кем же надо быть, чтобы верить, что русская армия семь месяцев сражается (сражается!) с

уловниками. Это куда больше оскорбление для нашей армии, чем для чеченцев. Ибо чеченцев оскорбляет враг, а нас, русских журналистов и русскую армию, — родная законная власть.

Кем надо быть, чтобы верить, что преуспевающие московские журналисты (и американские, немецкие, французские...) лезут под «град» и «ураган» за доллары Дулаева.

Продажный сидит в Москве и сочиняет хвалебные оды мавридикам — это и прибыльно, и безопасно.

Свобода печати обрушилась на тысячи журналистов-рабов, воспевателей Леонида Ильича, трудовых рекордов и встречных планов.

Свобода досталась профессиональным лжецам. Удивительно, что многие научились не врать.

Журналисты — как те братцы матросики — попали из грязи рабства в князь свободы. Как же было не распоясаться?

Нет ничего легче, чем купить аморального. Это было неизбежно. И это произошло.

Здесь воруют как нигде в мире. И журналист, и милиционер — наши, советские. Есть честные, а есть подонки.

Когда говорят о продажности прессы — возразить нечего. Но, пожалуйста, давайте сравним процент продажных миллионеров, продажных депутатов, министров и продажных журналистов. И если журналисты процент окажется больше... Но ведь не окажется.

Передел собственности, надумательские ваучеры и избирательные кампании — вот кто создал платежеспособный спрос на продажную журналистику. И тот, кто почти задаром воспевал политэкономии социализма, легко и свободно запел другие песни за другие деньги.

Что продажные — не удивительно. Удивительно, что не все.

Два года я не получаю никаких журналистских премий. Досадно, но не слышном. У меня есть утешение.

В 1992-м я случайно попал на ужин начальников. За столом сидели: вице-президент Рушкой, госсекретарь Бурбулис, вице-премьер Махарадзе, вице-премьер и министр печати Полторанин, председатель комитета ВС Брагин, генеральный прокурор Степанков, председатель «Останкино» Егор Ковалев и начальница Ленинградского ТВ Куркова.

Ни один из них не сохранил должность, а кое-кто даже побывал в тюрьме. А как был обозревателем — так и остался. Меня нельзя разжаловать.

Однажды какой-то мужик прорвался через охрану в редакцию и, не найдя меня, оставил «для Минкина» бутылку портвейна. Он отдал мне самое дорогое. Это ли не главный приз?

Вахтеры передали сверток, а там, в мятой газете, носки тончайшей вязки и письмо: «Мне 88 лет, я бедная, мне больше ничего вам подарить» и подпись: Раиса Корнеева. Уличные продавцы а «МК» толпились в розницу ежедневно уходить 200—300 тысяч! — газету с моей заметкой просят кто — на сто, а кто торгует среди машин — и на тысячу рублей дороже. Мои тшеславие удовлетворено полностью.

До последнего времени тираж «МК» был больше полутора миллионов. Если один номер читают четверо — это 6 000 000 читателей. Если треть из них читает мои заметки — это 2 000 000. И большинство из них никогда не поверит, будто я — продажный. За деньги так напишешь. Дураков нет, любой знает, что ни одна проститутка не даст такого наслаждения, как влюбленная женщина. Читатель чувствует: я отдаюсь ему по любви.

...А русская тоска — ее ничем не izbьт.

Я многого не знаю. Многого не понимаю. Многого не умею. Я восхищался Юрием Ростом, когда он печатал в «ЛТ» свои «светотени» — я сознавал: мне такого совершенства не достичь. Я завидовал Владимиру Гуревичу из «МН» — мне казалось, что лучше, чем он, никто не объясняет загадки экономики. Мне восхищался ум, талант и твердость духа Ю